

против интересов всего советского народа? С ним не согласимся мы, не согласится с ним и украинский народ. Стоило бы только напечатать киноповесть Довженко и дать прочесть народу, чтобы все советские люди отвернулись от него, разделили бы Довженко так, что от него осталось бы одно мокрое место. И это потому, что националистическая идеология Довженко рассчитана на ослабление наших сил, на разоружение советских людей, а ленинизм, то есть идеология большевиков, которую позволяет себе критиковать Довженко, рассчитана на дальнейшее упрочение наших позиций в борьбе с врагом, на нашу победу над злейшим врагом всех народов Советского Союза — немецкими империалистами.

МИЛОВАН ДЖИЛАС

Сомнения

<Из книги «Беседы со Сталиным»>

Мне, наверное, не пришлось бы ехать во второй раз в Москву и снова встречаться со Сталиным, если бы я не стал жертвой своей прямолинейности.

Дело в том, что после прорыва Красной Армии в Югославию и освобождения Белграда осенью 1944 года произошло столько серьезных — одиночных и групповых — выпадов красноармейцев против югославских граждан и военнослужащих, что это для новой власти и Коммунистической партии Югославии переросло в политическую проблему.

Югославские коммунисты представляли себе Красную Армию идеальной, а в собственных рядах немилосердно расправлялись даже с самыми мелкими грабителями и насильниками. Естественно, что они были поражены происходившим больше, чем рядовые граждане, которые по опыту предков ожидают грабежа и насилий от любой армии. Однако эта проблема существовала и усложнялась тем, что противники коммунистов использовали выходки красноармейцев для борьбы против неукрепившейся еще власти и против коммунизма вообще. И еще тем, что высшие штабы Красной Армии были глухи к жалобам и протестам, и создавалось впечатление, что они намеренно смотрят сквозь пальцы на насилия и насильников.

Как только Тито вернулся из Румынии в Белград, — одновременно он побывал в Москве и впервые встречался со Сталиным, — надо было решить и этот вопрос.

На совещании у Тито, где кроме Карделя и Ранковича присутствовал и я, решили переговорить с начальником советской миссии, генералом Корнеевым. А чтобы Корнеев воспринял все это как можно серьезнее, договорились, что встречаться с ним будет не один Тито, а мы втроем и еще два выдающихся югославских командующих — генералы Пеко Дапчевич и Коча Попович.

Тито изложил Корнееву проблему в весьма смягченной и вежливой форме, и поэтому нас очень удивил его грубый и оскорбительный отказ. Мы советского генерала пригласили как товарища и коммуниста, а он выкрикивал:

— От имени советского правительства я протестую против подобной клеветы на Красную Армию, которая...

Напрасны были все наши попытки его убедить — перед нами внезапно оказался разъяренный представитель великой силы и армии, которая «освобождает».

Во время разговора я сказал:

— Трудность состоит еще в том, что наши противники используют это против нас, сравнивая выпады красноармейцев с поведением английских офицеров, которые таких выпадов не совершают.

Особенно грубо и не желая ничего понимать, Корнеев реагировал именно на эту фразу:

— Самым решительным образом протестую против оскорблений, наносимых Красной Армией путем сравнения ее с армиями капиталистических стран!

Югославские власти только через некоторое время собрали данные о беззакониях красноармейцев: согласно заявлениям граждан, произошел 121 случай изнасилования, из которых 111 — изнасилование с последующим убийством, и 1204 случая ограбления с нанесением повреждений — цифры не такие уж малые, если принять во внимание, что Красная Армия вошла только в северо-восточную часть Югославии. Эти цифры показывают, что югославское руководство обязано было реагировать на эти инциденты как на политическую проблему, тем более серьезную, что она сделалась также предметом внутри-

партийной борьбы. Коммунисты эту проблему ощутили и как моральную: неужели это и есть та идеальная Красная Армия, которую мы ждали с таким нетерпением?

Встреча с Корнеевым окончилась безрезультатно, хотя и было отмечено, что после нее советские штабы начали строже реагировать на самоволие своих бойцов. А мне товарищи тут же, сразу после ухода Корнеева, одни в более мягкой, а другие в более резкой форме высказали свое неудовольствие, что я произнес эту самую фразу. Мне, право, и в голову не приходило сравнивать советскую армию с британской — у Британии в Белграде была только миссия. Я просто исходил из очевидных фактов, констатировал их и реагировал на политическую проблему, которую усложняло еще и непонимание и упрямство генерала Корнеева. Тем более я был далек от мысли оскорблять Красную Армию, которую в то время любил не меньше, чем генерал Корнеев. Конечно, я не мог — в особенности на занимаемом мною посту — оставаться спокойным к насилию над женщинами, которое я всегда считал одним из самых гнусных преступлений, к оскорблению наших бойцов и к грабежу нашего имущества.

Эти мои слова, наряду еще кое с чем, стали причиной первых трений между югославским и советским руководством. И хотя для обид были и более веские причины, советские руководители и представители чаще всего упоминали именно мои слова. Мимоходом скажу, что, несомненно, по этой же причине советское правительство ни меня, ни некоторых других руководящих членов югославского Центрального комитета не наградило орденом Суворова. По тем же причинам оно обошло и генерала Пеку Дапчевича, так что я и Ранкович, чтобы загладить такое пренебрежение, предложили Тито наградить Дапчевича званием Народного героя. Мои слова, несомненно, были одной из причин того, что советские агенты в Югославии принялись в начале 1945 года распространять слухи, что я «троцкист». Потом они сами прекратили это — как из-за бессмысленности обвинения, так и в связи с улучшением отношений между СССР и Югославией.

А я вскоре после этого заявления оказался почти в изоляции — но не только потому, что самые близкие товарищи меня особенно осуждали, хотя осуждения, конечно, были, и резкие,

и не потому, что советские верхи обостряли и раздували инцидент, а в одинаковой мере из-за моих собственных внутренних переживаний.

Дело в том, что я тогда переживал внутренний конфликт, который не может не пережить каждый коммунист, честно и бескорыстно принимающий коммунистические идеи, — он рано или поздно убедится в расхождении этих идей с практикой партийных верхов. В моем случае это произошло не столько из-за расхождения между идеалистическими представлениями о Красной Армии и поведением ее представителей. Я и сам понимал, что в Красной Армии, несмотря на то что она — армия «бесклассового» общества, «все еще» не может быть полного порядка, что в ней еще должны быть «пережитки прошлого». Внутренние противоречия во мне породило равнодушное, если не сказать одобрительное отношение советского руководства и советских штабов к насилиям, в особенности нежелание их признать — не говоря уже об их возмущении, когда мы на это указывали. Намерения наши были искренними — мы хотели сохранить авторитет Красной Армии и Советского Союза, который пропаганда Коммунистической партии Югославии создавала в течение многих лет. А на что натолкнулись эти наши добрые намерения? На грубость и отпор, типичные для отношений великой державы с малой, сильного со слабым.

Все это усиливалось и углублялось попытками советских представителей использовать мои, по сути, добронамеренные слова как основание для вызывающей позиции по отношению к югославскому руководству.

Что это, почему советские представители не смогли нас понять? Почему мои слова так преувеличены и искажены? Почему их в таком искаженном виде советские представители используют в своих политических целях, утверждая, что югославские руководители не благодарны Красной Армии, которая в решительный момент сыграла главную роль в освобождении столицы Югославии и помогла югославским руководителям закрепиться в ней?

Но на это не было — и на такой базе не могло быть ответа.

Меня, как и многих других, смущали и иные поступки советских представителей. Так, советское командование объявило, что для помощи Белграду оно дарит большое количество

пшеницы. Выяснилось, однако, что на самом деле эта пшеница находилась на складах на югославской территории и что немцы реквизируют ее у югославских крестьян. Советское командование просто считало ее своей военной добычей, как и многое другое. Советская разведка занималась массовой вербовкой русских белоэмигрантов, а также и югославов — даже в самом аппарате Центрального комитета. Против кого, зачем? В секторе агитации и пропаганды, которым я управлял, тоже остро ощущались трения с советскими представителями. Советская печать систематически изображала в неверном свете и недооценивала борьбу югославских коммунистов, в то время как советские представители сперва осторожно, а затем все более откровенно требовали подчинения югославской пропаганды советским нуждам, подгонки ее по советским колодкам. Попойки же советских представителей, приобретающие характер настоящих вакханалий, в которые они пытались вовлечь и югославские верхи, в моих глазах и в глазах многих других только подтверждали правильность наблюдений о расхождении между советскими идеями и делами — их этики на словах и аморальности на деле.

Первый контакт между двумя революциями и двумя властями — хотя они и стояли на схожих социальных и идейных основах — не мог не пройти без трений. Но поскольку это происходило в исключительной и замкнутой идеологии, трения не могли вначале проявиться иначе, как в облике моральной дилеммы и сожаления по поводу того, что правоверный центр не понимает добрых намерений малой партии и бедной страны.

<...>

Окончательный моральный удар этой делегации нанес, несомненно, Сталин. Он пригласил всю делегацию в Кремль и устроил ей обычный пир и представление, какое можно встретить только в шекспировских драмах.

Он критиковал югославскую армию и метод управления ею. Но непосредственно атаковал только меня. И как! Он с возбуждением говорил о страданиях Красной Армии и ужасах, которые ей пришлось пережить, пройдя с боями тысячи километров по опустошенной земле. Он лил слезы, восклицая:

«И эту армию оскорбил не кто иной, как Джилас! Джилас, от которого я этого меньше всего ожидал! Которого я так тепло

принял! Армию, которая не жалела для вас своей крови! Знает ли Джилас, писатель, что такое человеческие страдания и человеческое сердце? Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров сквозь кровь, и огонь, и смерть, если тот пошалит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк?»

Он каждую минуту провозглашал тосты, льстил одним, шутил с другими, подтрунивал над третьими, целовался с моей женой, потому что она сербка, и опять лил слезы над лишениями Красной Армии и над неблагодарностью югославы.

Он мало или вовсе ничего не говорил о партиях, о коммунизме, о марксизме, но очень много о славянах, о народах, о связях русских с южными славянами и снова — о героизме, страданиях и самопожертвовании Красной Армии.

Слушая обо всем этом, я был прямо потрясен и оглушен.

Но сегодня мне кажется, что Сталин взял на прицел меня не из-за моего «выпада», а в намерении каким-то образом перетянуть меня на свою сторону. На эту мысль его могло навести только мое искреннее восхищение Советским Союзом и его личностью.

Сразу после возвращения в Югославию я написал о встрече со Сталиным статью, которая ему очень понравилась, — советский представитель посоветовал мне только в дальнейших публикациях этой статьи опустить фразу о слишком длинных ногах Сталина и больше подчеркнуть близость между Сталиным и Молотовым. Но в то же время Сталин, который быстро распознавал людей и отличался особым умением использовать человеческие слабости, должен был понять, что он не сможет склонить меня на свою сторону ни перспективой политического возвышения, поскольку я был к этому равнодушен, ни идеологической обработкой, поскольку к советской партии я относился не лучше, чем к югославской. Воздействовать на меня он мог только эмоционально, используя мою искренность и мои увлечения. Этим путем он и шел.

Но моя чувствительность и моя искренность были одновременно и моей сильной стороной — они легко превращались в свою противоположность, когда я встречался с неискренностью и несправедливостью. Поэтому Сталин никогда и не пытался привлечь меня на свою сторону непосредственно, а я, убеждаясь на практике в советской несправедливости и стремлении к гегемонии, освобождался от своей сентиментальности и становился более твердым и решительным.

Сегодня действительно трудно установить, где в этом сталинском представлении была игра, а где искреннее огорчение. Мне лично кажется, что у Сталина и невозможно было отделить одно от другого — у него даже само притворство было настолько спонтанным, что казалось, будто он убежден в искренности и правдивости своих слов. Он очень легко приспособлялся к каждому повороту дискуссии, к каждой новой теме и даже к каждому новому человеку.

Итак, делегация возвратилась совсем оглушенной и подавленной.

А моя изоляция после слез Сталина и моей «неблагодарности» по отношению к Красной Армии еще больше усилилась. Но, становясь все более одиноким, я не поддавался апатии и все чаще брался за перо и книгу, находя в самом себе разрешение трудностей, в которых оказался. Но жизнь делала свое — отношения между Югославией и Советским Союзом не могли застыть там, где их зафиксировали военные миссии и армии. Связи развивались, отношения становились многогранными, все больше приобретая определенный межгосударственный облик.

<...>

Очутившись лицом к лицу со Сталиным, я вдруг почувствовал уверенность в себе, хотя он ко мне и здесь долго не обращался.

Только когда атмосфера оживилась благодаря напиткам, тостам и шуткам, Сталин посчитал, что наступило время покончить распрю со мной. Он сделал это полушутливым образом: налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную Армию. Не сразу поняв его намерение, я хотел выпить за его здоровье.

— Нет, нет, — настаивал он, усмехаясь и испытующе глядя на меня, — именно за Красную Армию! Что, не хотите выпить за Красную Армию?

Разумеется, я выпил, хотя у Сталина я избегал пить что-либо, кроме пива, потому что я не люблю алкоголь и потому что пьянство не вязалось с моими взглядами, хотя я никогда не был и проповедником трезвости.

Затем Сталин спросил — что там было с Красной Армией? Я ему объяснил, что вовсе не хотел оскорблять Красную Армию, а хотел указать на ошибки некоторых ее служащих и на политические затруднения, которые нам это создавало.

Сталин перебил:

— Да. Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов, — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию. Тут был интересный случай. Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашелся рыцарь-инженер, который начал ее защищать. Майор за пистолет: «Эх ты, тыловая крыса!» — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я им заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного Главнокомандующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Война надо понимать. И Красная Армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев — а она их бьет хорошо, — все остальное второстепенно.

Немного позже, после возвращения из Москвы, я с ужасом узнал и о гораздо большей степени «понимания» им грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии, советские солдаты, в особенности танкисты, давили и без разбора убивали немецких беженцев — женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях. Он ответил: «Мы читаем нашим бойцам слишком много лекций — пусть и они проявляют инициативу!»

Сталин спросил меня:

— А генерал Корнеев, начальник нашей миссии, что он за человек?

Я не хотел говорить о Корнееве и о его миссии что-либо дурное, хотя сказать можно было многое. Сталин продолжал:

— Он, бедняга, не глуп, но он пьяница, неизлечимый пьяница!

После этого Сталин начал шутить по поводу того, что я пил пиво, которое я, кстати, тоже не люблю:

— А Джилас пьет пиво, как немец, как немец — он немец, ей-богу, немец.

Мне эта шутка прилась не очень по вкусу: в то время немцы — даже и то небольшое количество коммунистов-эмигрантов на нашей стороне — котировались в Москве ниже всех прочих, но я принял ее не сердясь и без внутреннего возмущения.

Этим, как казалось, спор вокруг Красной Армии был исчерпан. Отношение Сталина ко мне стало сердечным, как прежде.

Так это продолжалось до конфликта между югославским и советским ЦК в 1948 году, когда Молотов и Сталин в своих письмах снова использовали и извратили этот самый спор и «оскорбления», которые я нанес Красной Армии.

И. В. СТАЛИН

Из телеграммы И. Броз Тито

<31 октября 1944 г.>

Я понимаю трудность Вашего положения после освобождения Белграда. Вы не можете не знать, что Советское правительство, несмотря на колоссальные жертвы и потери, делает все возможное и даже невозможное, чтобы помочь Вам. Но меня поражает тот факт, что отдельные инциденты и ошибки отдельных офицеров и бойцов Красной Армии обобщают у Вас и распространяют на всю Красную Армию. Нельзя так оскорблять армию, которая помогает Вам изгонять немцев и обливается кровью в боях с немецкими захватчиками.

Не трудно понять, что семья без урода не бывает, но было бы странно оскорблять семью из-за одного урода. Если красноармейцы узнают, что Джилас и те, кто ему не возражали, считают английских офицеров в моральном отношении выше советских офицеров, то они завывали бы от такой незаслуженной обиды.